



ДМИТРИЙ КУНГУРЦЕВ

# *Маджара*

# Дмитрий Кунгурцев

## Маджара

### Серия «Ковчег»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=43477632](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43477632)*

*Маджара. Сборник. / Кунгурцев Д.: Городец; Москва; 2019*

*ISBN 978-5-907085-20-6*

### Аннотация

Дмитрий Кунгурцев родился в 1985 году в Москве. Своими учителями в литературе считает Э. Хемингуэя и Дж. Сэлинджера. Стихи, рассказы и сказки пишет с детства. Повесть «Маджара», давшая название всему сборнику, стала победителем премии «Дебют» в номинации «За лучшее произведение для детей и подростков». В оценках членов жюри отмечалось ее родство с фильмами Кустурицы (в частности, «Черная кошка, белый кот»); «Удивительно сочный по языку текст и особый художественный мир с ярким социальным балканским фоном», — охарактеризовала повесть «Маджара» Алиса Ганиева. Но, разумеется, это только один из мотивов сборника, включающего шесть произведений Дмитрия Кунгурцева. А главный герой в нем — самобытный русский юг.

# Содержание

Маджара	5
Конец ознакомительного фрагмента.	66



# Дмитрий Кунгурцев Маджара. Сборник

## Маджара



Когда она родилась, бомбили Белград, это был самый последний год прошлого века. Накануне мы смотрели новости,

а ночью маму увезли, я спал и ничего не слышал. Девчонка выскочила на разбомбленный свет так быстро, что врачи едва успели ее подхватить. Быстрые роды. Мама боялась, что родит в «скорой помощи», приехала пара мальчишек в белых халатах, которые боялись этого пуще нее. Валентин сидел в машине рядом с ней, молчал и молился про себя, он-то боялся больше всех троих вместе взятых. Хорошо, что была ночь, водитель «скорой» гнал, как Шумахер, – и они успели. Но прежде чем отправить маму наверх, в родильное отделение, дежурный врач принялся заполнять личное дело роженицы, и мама сидела как на иголках, вернее, полулежала на стуле, сжав ноги, этой девчонке не терпелось выскочить и осмотреться. Не успела мама расположиться на родильном кресле, как девчонку вынесло на околоземную орбиту. Маму вывезли на каталке в коридор, а девочку принесли и положили, голую, ей на живот. Мама подумала, что это что-то новенькое, ведь меня в роддоме ей принесли замотанного в нечто твердое со спины, как жука, она только дома убедилась, что я никакой не жук с головой младенца, а настоящий младенец с ручками и ножками, все как положено. Эта девчонка орала не переставая; поглядев в ее красное сморщенное личико с крючковатым носом, мама вздохнула, нос ей явно достался от одной из двух длинноносых бабок. Бедняжка обещала стать уродиной, только этого не хватало, расстроилась мама, но утешила себя тем, что зато орет она, как очень здоровый ребенок. Наутро, увидев лицо младенца, не

искаженное гримасой плача, мама удивилась – девчонка в состоянии покоя оказалась прехорошенькой: нос был вполне коротким, правда, глаза были узкими и раскосыми, как у каменной скифской бабы, но зато лицо скифской девочки украшали черные брови, а бровей, каких бы то ни было, не имелось ни у одного из пяти младенцев, которых приносили в эту палату. У новорожденных, которых приносили в соседние палаты, как мама убедилась позднее, бровей тоже не было. Оказалось, что безбровые младенцы – правило, а наша стала исключением.

Через два дня мы с Валентином забрали маму с бровастым младенцем домой – по этому случаю я не пошел в школу, и мне, как и всем, налили шампанского.

*Со временем благодаря сестре я стал свободным. Вечером – я учился во вторую смену – меня уже не встречали, задержка после занятий на двадцать минут перестала считаться преступлением против семьи; иногда мне приходилось присматривать за Виринеей, – Валентин решил дать ребенку это имя, которое не нравилось маме, – но, в общем и целом, я теперь вполне был предоставлен сам себе. После очередных летних каникул меня отправили в городскую школу, маме казалось, что там я получу настоящее образование, я согласился перейти в новую школу, потому что Она тоже перешла туда, мы опять были в одном классе, я думал, что все будет, как раньше, как там, в нашей малень-*

кой школе в горах.

В этой школе в две смены училось больше двух тысяч человек, и на переменках в коридорах я каждый день видел не одни и те же, а все новые, мелькавшие мимо и мимо, лица. Впрочем, я и не старался их запомнить. Меня интересовало только одно лицо, которое я знал гораздо лучше, чем свое. От топота тысяч ног школьные стекла мелко дребезжали, с подоконников падали горшки с цветами, из шкафов валились наглядные пособия, старая карта мира – на ней еще были Советский Союз, ГДР и Югославия – упала со стены, и след чьего-то грязного ботинка, никак не меньше сорок пятого размера, лежал на Европе и на части нашей страны, казалось, что начинается землетрясение, но раздавался звонок на урок, и покой возвращался в старые стены. Когда-то школа носила имя Павлика Морозова, новая директриса совсем недавно добилась переименования: теперь это была школа имени писательницы Дмитриевой, которую никто, кроме отдельных старшеклассников и двух русичек, не читал, но дом-музей которой находился неподалеку. Впрочем, в городе школа по-прежнему слыла школой убиенного отцепредателя, и молодая начальница не выносила даже упоминания крамольного имени. Я ничего этого не знал, не знала об этом и моя мама. А надо сказать, что я имел неосторожность родиться под фамилией Морозов. К мальчику из свердловского села никакого отношения я не имел. Скорее, мне мечталось, что мы потомки Саввы Морозова,



который построил в нашем городе – перед самой смертью – виллу «Вера»; вилла до сих пор стоит на скале над морем, там теперь клуб моряков.

Я проучился год в новой школе, но друзей у меня не было, не было даже приятелей, только Она. Хотя она делала вид, что мы не знакомы, как будто это не со мной она сидела рядом целых шесть лет, в течение которых мы так страшно изменились. Едва научившись писать, я писал ей любовные записки, она отдавала их своей маме, а та – моей. Года через три у моей мамы накопилась полная жестяная коробка из-под чая «Липтон» этих мятых бумажек в клеточку и линейчку, и к тому времени я наконец оставил эпистолярный жанр. В прежней школе у меня не было случая защитить ее – народ у нас учился довольно мирный, – зато здесь случаев было предостаточно. Ее задирали потому, что она в любую погоду ходила в кофтах с длинным рукавом и брюках. Я знал, что Она прячет свои руки и ноги оттого, что они как будто выцвели, сквозь обычный южный загар (она ходила с родителями на пустынные дикие пляжи, где, кроме них троих, никого не было) просвечивали белые пятна никогда не загоравшей кожи: у нее была какая-то редкая кожная болезнь. Она мечтала уехать с Черного моря на Красное, где, говорят, болезнь ее могла пройти. Мне позволялось быть избитым за нее то одним, то двумя, а то и тремя одноклассниками. Впрочем, ко мне тоже цеплялись: я был новеньким, успел нахватать кучу двоек, особенно по

*ненавистному английскому, который в этой школе изучали с первого класса, я же учил его с пятого (так же, как Она, но у нее были способности к языкам, а у меня – никаких); к тому же в то время я увлекся Белым движением, а, как назло, здешние все были красными – Павлик Морозов все еще жил в них. Таким образом, из тридцати пяти человек в нашем классе тридцать четыре были красными, а всю белую армию представлял я один. Сдаваться я не собирался. Это была моя школьная, неизвестная домашним жизнь.*

А дома была годовалая сестра Виринея, чьи брови становились все гуще, и Валентин говорил, что, в конце концов, она переплюнет Брежнева. У нас был частный дом, двухэтажный, но уже очень старый, сложенный наполовину из блоков, наполовину из речных камней, дому скоро исполнялось тридцать лет, и потихоньку что-нибудь в нем отказывалось служить людям. Бедному Валентину, который, кроме своих эндемиков, а также гадов ползучих, никого знать не хотел, приходилось то ручки менять на дверях, то ставить прокладки на краны, то подклеивать висящие клочьями обои – на это он тратил прорву времени и злился, что отнимает его у колхидской жабы, у кавказской гадюки или у самшита. Мама с девчонкой спали на втором этаже, моя комната была здесь же, а Валентин со своими змеями, мышами, палочниками и прочими божьими тварями располагался в угловой комнате первого этажа, подальше от кроват-

ки младенца. Мама говорила, что не хочет в один прекрасный, вернее ужасный, день обнаружить ребенка в обнимку с парочкой змей, руки у девочки, конечно, сильные, но все-таки не такие, как у мальчика Геракла, и вряд ли ей удастся задушить змей, как древнему греку, – вернее, тогда он, конечно, еще не был древним греком, а был просто маленьким греком, но дела это не меняет.

Еще в комнате Валентина жили пауки, совершенно свободно, не подвергаясь репрессиям. Он, после продолжительных боев с мамой, отвоевал-таки им жизненную территорию, вначале мама то и дело норовила мокрой тряпкой, намотанной на швабру, обмести паутину, но Валентин вставал на защиту пауков стеной, и мама в конце концов сдалась – оставила его с пауками в покое. Валентин об одном только жалел, что ему не удалось их развести во всем доме, но зато, говорил он, я знаю, что, во всяком случае, в моей комнате их никто не тронет. Вы посмотрите, он шутил, сколько у нас солнечных дней в году! И все благодаря нам, ведь есть такая примета: убить паука – к дождю, мы их не убиваем – и у нас вечное солнце!

Девчонка была на редкость спокойным ребенком, орала только по делу и почти мне не мешала. Над кроватью я повесил вырезанные из разных изданий фотографии Николая Второго, одного, с императрицей, со всей семьей, где он в серой тужурке, с эмалевым крестиком в петлице, где наследник, императрица и четыре великих княжны, а также фото-

графии адмирала Колчака, барона Врангеля, генералов Деникина, Корнилова, Кутепова и других. Где-то в дровянике валялся мой старый меч, сработанный из железа, с рукояткой, обмотанной синей изолентой; на чердаке, среди тряпья, лежал, свернутый комом, старый зеленый плащ, который я сам покрасил в этот цвет; в одном из ящиков шкафа среди хлама я наткнулся на «серебряный» обруч – бабушкины пальцы, затянутые фольгой. Совсем недавно я нацеплял его на голову, надевал зеленый плащ, за пояс совал меч и отправлялся к пятиэтажным домам на поиски приключений. Тогда девчонки еще на свете не было.

В долине нашей знаменитой горной речки, среди улиц и улочек, сплошь состоящих из частных домов, затесались два пятиэтажных. Когда-то, лет пятнадцать назад, частное жилье собирались сносить, а всю долину застроить стоквартирными домами, ну, и нас, разумеется, поселить в одном из этих домов. Но планы эти с треском провалились, в девяностые годы многоквартирное жилье вообще перестали строить. Теперь гордые жители пятиэтажных домов считаются городскими, а мы – сельскими, хоть живем, считай, через дорогу, у них и улица называется по-другому, хотя вся улица – два дурацких дома с вонючими подъездами. Но там, в этих вавилонских недоделанных башнях, живут все мои друзья. Я наживал их кровью и потом. В детский сад я никогда не ходил, сидел дома, под бабушкиным крылом, затем стал ездить в школу, высоко в горы, где, опять-таки, работала ба-

бушка, там у меня были *Она* и парочка друзей, с которыми мы после школы, разъезжаясь в разные стороны, не встречались. А по соседству, в городских домах, полно было детей. Но мама меня старалась под разными предлогами не пускать туда, она тряслась от ужаса, если я хоть чуть-чуть задерживался. Ей рассказывали, что меня бьют, и даже не старшие, а младшие, соберутся скопом, человек пять, и дубасят. Это была правда. Но я скрывал. Мне нужны были друзья, мне, кровь из носу, нужна была команда. И я ее собрал. Васька был учительским сыном и внуком, двойной порок, я-то был только внуком, мама моя к школе отношения не имела, да к тому же теперь бабушка, бывшая учительница, а ныне пенсионерка, с нами не жила: вышла замуж и уехала на Кубань. Но Ваську учительское окружение не испортило: с четырех лет он был предоставлен сам себе, вернее, улице, и бродил где вздумается. Когда мне было десять, ему было семь, мои одноклассники посмеивались, но мне было все равно – я нашел Торуна. Нас было двое, я рассказал ему про хоббитов, гномов и эльфов, мы сделали себе мечи и вышли к пятиэтажным домам. Это были две твердыни, две башни, полные орков, которые нападали на нас при каждом удобном случае, но даже вдвоем против десяти мы сражались, как и подобает эльфу с гномом. Орков в джинсовых костюмчиках смешили наши рваные зеленые плащи с чужого плеча. «Вы их на помойке подобрали?» – кричали они, наши картонные мечи они ломали и выкидывали, но скоро мы вооружились заточенными

металлическими мечами, и им стало не до смеха. Тогда еще не сняли «Властелин колец», и орки не могли нас идентифицировать: кроме мечей, у нас были луки со стрелами – и они, вот умора, звали нас индейцами. С Костей мы были одногодками и даже одно время дружили, но потом разошлись, ему было спокойнее дружить с кем-то из соседнего подъезда, чем со мной, чужаком из поселка. Но как-то, в одно из наших с Васькой зловещих сражений с орками, он не выдержал и присоединился к нам, я дал ему Толкиена, и в нашей команде появился Леголас – и стало нас трое. Вернее, уже четверо, потому что куда Костя-Леголас, туда и Паша-Боромир, он был на пару лет нас с Костей младше, а ростом совсем не вышел и потому тянул только на гнома, но по доброте моей душевной был назначен в нашу команду человеком.

Года два мы с переменным успехом воевали с орками, а потом появился в нашем доме Валентин, Толкиена он высмеял. Главное, говорил Валентин, это же не наш человек, он же католик, а ты, Сережа, увлекаешься историей, читаешь про Белое движение, а играешь в католические игры, Колчак с Врангелем тебя бы не одобрили. Да мне и самому уже все эти зеленые плащи, обручи и мечи надоели, а может, вырос я из них, и Белым движением я действительно тогда уже сильно увлекся, вот так и получилось, что наша четверка стала белой армией на Кавказе. Иногда белой армии доверяли покатасть в коляске младенца Вириною, девчонка хмурила свои грозные брови – и орки из пятиэтажных башен, пре-

вратившиеся в красных комиссаров, не решаясь напасть, бежали за нами обочь дороги и обзывали белыми поганками. Мы выучили «Боже, царя храни», «Так громче музыка играй победу», переиначенную песню «Там, вдали за рекой», где вместо сотни юных бойцов из буденновских войск действовала деникинская сотня, – и распевали их, бешено катя коляску по асфальтовым дорогам, проложенным вокруг пятиэтажных башен. Виринея, привязанная ремнями к своей сидячей коляске, подсакивала на ухабах и заливалась смехом, когда мы орали: «Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура, ура, ура!» Белая гвардия ей явно пришлась по душе.

*Только потому, что там была Она, была надежда, я мог ездить в эту школу, где два последних урока приходилось зажигать свет, потому что наступала тьма. Во тьме мы шли с ней мимо футбольных ворот, мимо ржавых железных лестниц, ведущих в небо, мимо бревна, на котором сидел бездомный кот с облезлым боком, с которым я на перемене потихоньку делился школьными пирожками. За стадионом был узкий мостик через бедную городскую речушку, забранную в бетонные берега, черную быструю речку, спешившую к близкому морю, мостик был такой узкий, что приходилось идти гуськом: Она – впереди, я – за ней, а кот, мечтавший о пирожках, некоторое время шел за нами. Потом была широкая лестница, в сто ступеней, ведущая к авто-*

бусной остановке, мы поднимались по разным краям лестницы, не глядя друг на друга. Я все хотел говорить с ней, то про Толкиена, то про белых и красных, то про друзей, то про сестренку, про английский, может быть? Но, мне казалось, с ней невозможно разговаривать, как со всеми людьми, о вещах таких простых и смешных. И день за днем мы шли молча. На уроках мы отвечали, когда нас спрашивали заданный взрослыми урок, там мы знали, что и как говорить, хоть одинаковые для всех школьные слова были еще смешнее тех, которые я про себя говорил ей. С Богом разговаривают на его языке, постоянными словами древних молитв, почему же не придумают язык постоянных слов, которыми можно говорить с девочками, когда вы наедине. Потом, конечно, слова могли бы изменяться, дополняться, упрощаться, но вначале – как с Ними говорить? Остановка была освещена и казалась именно тем местом, к которому мы так стремились. Мой автобус приходил раньше. Пятиэтажные баини были конечной остановкой городского маршрута, а ей надо было ждать сельский ЛАЗ, идущий мимо этих домов высоко в горы, она слегка поворачивала голову в мою сторону – я нагибался завязать инурки, или, заложив руки за спину, принимался читать черную афишу, или просто отворачивался, я всякий раз пропускал свой автобус. Мы ехали вместе, иногда, когда не было предыдущего рейса, старенький ЛАЗ (еще моя мама ездила на нем в школу) был так набит, что нас придавливало друг к другу, казалось, еще немного



*– и мы срастемся, как колхидский плющ и белолистка. Городские фонари оставались позади – и за окнами таилась ночь. Переполненный автобус, горя своим внутренним светом, мчался в зимней ночи, как ковчег, и я мечтал, чтоб он никогда не останавливался. И не нужны уже были слова.*

Виринея стала говорить, кроме «мама» да «папа», она говорила «ав-ав», она так говорила, когда мы проходили, возвращаясь от пятиэтажек, мимо лающих собак за соседскими заборами, и топала на них ногой, хмуря брови и грозя пальчиком. Когда меня оставляли с ней, я сажал ее на пол, на драное зеленое одеяло, из которого клочьями торчала пожелтевшая вата, и принимался читать ей свои детские книжки, ценою не более пятнадцати копеек за штуку, которые достали с чердака. Книжки девчонка называла «конене», слово, схожее со скандинавским «конунг» – король, книжки она тогда уже ценила. На книжных собак девчонка топала ногой так же, как на живых, и так же грозила им пальцем. Меня в то время она звала Ам, как свою кашу; конечно, о Сережу или Серого язык сломаешь, но почему именно Ам – не знаю, она и сама, наверно, не знала, просто Ам, и все. Потом, слово за слово, появились целые предложения, с ней уже можно было поговорить по-людски... Жалко только, что не родилась она раньше. Когда мама была беременна, я мечтал о брате, но эта девчонка – когда не ревела – стояла сорока тысяч братьев.

У нас было две кошки: Пушка и Милька, девчонка зва-

ла их Пу и Ми. Милька родилась у Пушки чуть не в один день с Виринеей и по такому случаю была оставлена в живых; кроме того, как это часто бывает, мы обознались, подумали, что она – это он, я назвал котенка Милорадовичем в честь одного классного сэрба, генерала, героя Отечественной войны 1812 года, предательски убитого декабристами на Сенатской площади, ну а потом – когда с полом все стало ясно – Милорадовича сократили в Мильку. Поскольку родилась Милька, когда всем было не до нее: на руки ее не брали, руки у всех были заняты человеческим детенышем, в бантик на веревочке не играли – играли все с девчонкой, гладить не гладили – голубили все Виринею, – то и выросла она в совершенно дикую кошку. Охотилась Милька на все, что бегало, летало или ползало и было ей по плечу: на крыс и мышей – в доме, в сарае, в курятнике, а также в соседских сараях и курятниках; на воробьев, дроздов, синиц, а по весне на их птенцов; на обычных ящериц и на ящериц-веретениц, греющихся на солнышке; на соседских собак, если они осмеливались подойти к смежному с соседями забору или, не дай бог, к нашей калитке. До питомцев Валентина, живущих в ящиках, за вечно запертой дверью угловой комнаты, она не могла добраться, но честно пыталась. Валентин говорил, надо было назвать ее Артемидой. Убитых ящериц он очень жалел, кошек, он говорил, на свете миллионы, а ящериц, особенно веретениц, остается все меньше. Одно время он даже пытался наказывать Мильку за убийство: тыкал в

несъеденную жертву носом и устраивал хорошую трепку, но потом, поняв тщетность своих попыток, оставил охотницу в покое. Она охотилась также за голыми ногами, посмевши-ми пройти в непосредственной близости от нее, и всегда остав-ляла кровавые отметины, поэтому Пушку Виринея таскала, как куклу, теребила и целовала, а свою сверстницу Миль-ку старалась обойти сторонкой. Впрочем, на детские голые ноги Милька, которая повзрослела гораздо раньше девчон-ки, не обращала внимания. Она была нетребовательна: ела черный хлеб, кислое молоко, не отказывалась от помидоров и хурмы, только остатки детского питания и бульоны из ку-биков ни в какую есть не хотела. Мильке ужасно не везло с потомством, котята рождались у нее то дохлые, то потом помирали, то ли от недостатка молока, то ли еще от чего, а Пушкиных котят часто оставляли, то одни закажут котеноч-ка, то другие. Пушка была трехцветная красавица с томным взглядом, взгляд ее становился просто исступленным, если ей хотелось рыбы, которую как раз собрались есть ненасытные люди, она пялилась вам в глаза, помяргивая баритоном, до тех пор, пока не получала свою долю. Мильку, если та пы-талась урвать кусок, она лупила обеими передними лапами немилосердно, а Милька, несмотря на всю свою охотничью сноровку, матери всегда уступала. Бедная Милька сначала фыркала на Пушкино потомство, а потом смирялась; когда чужое чадо чуть подрастало, она бегала с ним взапуски, вы-лизывала наперебой с Пушкой и учила ловить мышей. Дев-

чонка, тоже претендовавшая на Пушкиных детей, старалась дать всем, в том числе и Пушке, понять, что это она котяткам мама, прикладывала их к груди, баюкала и вообще всячески воспитывала, невзирая на многочисленные царапины, нанесенные неблагоприятным хвостатым отродьем.

*Англичанка взялась за меня всерьез, мы были с Ней в одной группе, я сам всеми путями добивался этого, и вот на свою голову добился. Я мало, конечно, занимался английским, мне надо было наверстывать упущенное за четыре года, но лень было тратить время на эту муру, английский я не желал учить за то, что им разговаривали в Штатах. Помню, в первый же день, как девчонку привезли из роддома, сослуживцы мамы и Валентина натащили всякие необходимые младенцам вещи, среди прочего кто-то приволок Микки-Мауса, без которого, видимо, русским детям в настоящее время никак не обойтись. Мы с Валентином тут же окрестили его натовцем, и Виринея, когда стала говорить, только так и звала это черноухое чудовище – выкидывать игрушку мы не стали, все-таки кто-то делал, старался, как умел. На уроках английского я должен был с такой скоростью отвечать на вопросы англичанки, ставя слова в английском порядке, не пугая падежи и времена, что у меня всякий раз на перемене кружилось в голове. Конечно, я не успевал за всеми, я вообще с трудом понимал, про что это они, – и вдруг трах-тарабах тебя спрашивают про*

какие-то глупости, которые происходят с дурачкой Мэри или паршивцем Джоном. Еще ничего, если бы они жили в каких-нибудь трущобах, так нет – дом у них просто глянцева картинка, ну точно такая же картинка, как все их дома до одного, а трущоб, как замечает англичанка, у них в помине нет, все это бывшая коммунистическая пропаганда. На завтрак, обед и ужин едят они свои многоэтажные гамбургеры и горячих собак, поливая все это кетчупом и запивая литрами колы и пепси, впрочем, мы в этом отношении уже мало чем от них отличаемся. Потом они вдруг ни с того ни с сего – благодаря перестройке, конечно, авторитетно говорит англичанка – начинают писать письма какому-то русскому дураку Пете, и Петя с большим чувством, насколько можно понять, отвечает им, тоже, конечно, по-английски. Потом они едут в Москву, в гости к этому Пете, который спит и видит, как, в свою очередь, окажется в их Нью-Йорке или Сан-Франциско. Мэри с Джоном начинают везде шататься и все разглядывать, а Петя – им все показывать. При чем тут только я, непонятно. Валентин говорит, грядет реформа русского языка, вроде у нас язык очень сложный, не только для иностранцев, но и для своих, а поглядеть на английский, говорит Валентин, у них пишется Лондон, а читать надо Париж, в каждом слове столько лишних букв, что голову сломаешь, и ничего – никакой реформой и не пахнет, весь мир учит их язык, как стреноженный. Правда, Валентин говорит еще, что врага надо знать в лицо, а что в

лице главное – язык, учи, мол, язык, Сережа...

Англичанка дает задание: мы должны задавать друг другу английские вопросы и по-английски же отвечать, чтобы даже междометий русских не было, а только «вау» да «о-о». Она сидит напротив меня, – мы все сидим за длинным столом, вроде стола для заседаний, только без бордовой скатерти, а англичанка во главе стола, – она спрашивает меня о чем-то, очень медленно, в сущности, я даже понял, я даже мелю что-то, только, видно, опять невпопад, потому что англичанка становится красной, как несуществующая скатерть на нашем общем столе, и, забыв, видно, все английские слова, на чистом русском языке говорит, что таких баранов она, сколько живет, еще не видела, что место мне не в престижной школе, а в школе для дураков, и что она все постарается сделать для того, чтобы я в школе имени писательницы Дмитриевой не учился. Я глаз не смею поднять, я представляю, что я каким-то образом превратился в чинару за окном и скребу себе ветками по окну и по кирпичной стене, я под солнышком, мне хорошо, а вы тут учите свой английский хоть до посинения, дереву английский никогда не понадобится, дерево на работу не пойдет, к компьютеру его не подпустят, визы в Англию не дадут – не нужен мне английский, хоть ты тресни. Дереву да же Она не нужна, колю я себя своей же веткой, дереву все равно, что Она теперь никогда его не полюбит, все кончено, ну и пусть.

Мы с Васькой осенью поймали в лесу белую утку Это была всем уткам утка; семь потов с нас сошло, прежде чем мы ее достали; летала она низко и недалеко, видимо, была когда-то домашней, но потом одичала, мы загнали ее к краю обрыва, пропасть внизу – будь здоров, ей некуда было деваться, полет с такой крутизны, она понимала, грозил ей переломанными крыльями, а может, и шеей, но она исклевала нам все руки, пока наконец смирилась. Ей подрезали крылья и посадили к курам, и она стала там жить, ходила вместе с курами, на насест, правда, залезть не могла, но, если посадишь, и спать могла наверху, в подруги взяла себе черную курицу, та тоже была новенькой, и обе стали командовать в курятнике. А весной глядим – куда это утка наша пропала?! А она в будке сидит! Будка собачья у нас давно уже пустовала. После того, как наша престарелая собака Пальма ушла в лес и не вернулась, мы унесли конуру за дорогу и держали в ней щепки для растопки печей, и вот немного щепок с зимы осталось, утка нащипала из себя пуха, покрыла им щепки, снесла несколько яиц и села выводить утят. Мама вытряхнула твердые колючие щепки, а пух и яйца оставила, но утка ужасно рассердилась и, вытянув шею, шипя не хуже Валентиновых гадюк, принялась возвращать щепки на место, надрала свежего пуха и опять уселась на яйца, весьма довольная собой. Как-то в сумерках мама с девчонкой пошли по соседям, им дали еще утиных яиц, мама подложила их к утке, и утка в

конце концов вывела потомство. Но оказалось, что большая его часть – это цыплята, а не утята, так как в темноте маме с Виринеей по ошибке надавали куриных яиц, впрочем, утке, кажется, это было все равно, она и такими детьми осталась очень даже довольна. Так же, как девчонка, – та была просто счастлива. Подумать только, целая куча новых детей! Да еще одна из наших гадюк расстаралась: вывела змеенышей! А у мышей родились розовые мышата, а у Пушки – опять котята, в общем – жизненное колесо. Виринея нянчила и таскала их всех по очереди, кроме, конечно, молодых змеят, пока по недосмотру юной няньки Милька в когтях не принесла одного из голеньких мышат Пушкиным безжалостным чадам. Горе матери-мыши не идет ни в какое сравнение с горем няньки! По-моему, наша девочка всерьез тогда считала, что является родительницей всех рождающихся божьих тварей в округе, не исключено, что и всякая новорожденная травинка приходилась ей дочкой. К счастью, Милька – все-таки она была домашней кошкой – не охотилась на смешанное утиное потомство, и Виринея могла вполне безнаказанно затащить во двор какого-нибудь бедолагу утенка и сколько влезет таскать его на руках и целовать в коричневый клюв. У Пушки, по обыкновению, родилось два котенка, один, как всегда, был рыжий кот, вторая – черно-белая кошечка. Кошечку заказал оставить сосед, грек Гриша. Хотя Гриша был не полностью грек – мать у него была русская, – но выглядел грек греком: нос греческий и черные усы. Гриша пил как са-



пожник, а может, как Дионис, во всяком случае, на работе его долго не держали. С женой он давным-давно разошелся, они, вдвоем с матерью, недавно стали жить по соседству с нами, а прежде у них была трехкомнатная квартира в городе, которую Грише пришлось продать, чтобы расплатиться с дикими долгами, в которые он влез, заведя какое-то ужасно прибыльное дело, но тут же и прогорев. На оставшиеся после уплаты долгов деньги и купили половинку дома. Акимовна получала пенсию, а Гриша копался в саду и, время от времени, устраивался на очередную работу в строительную фирму, потом уходил в запой, пропадал куда-то дня на три, потом вновь появлялся в саду, где копал, тяпал, сажал, полл, подвязывал, подрезал – в зависимости от времени года. Месяца через два-три он опять устраивался на работу – до очередного запоя. Когда сын пропадал, Акимовна приходила к нам звонить – искала его, на том конце провода отвечали, что нет, на работу не пришел, объект простаивает, бригада его ждет, хозяин мечет гром и молнии, где его черти носят, хотелось бы знать... Акимовне и самой хотелось бы знать это.

Она боялась, что в какой-нибудь чудовищный день он не возвратится домой. «Преступность-то сейчас какая, Люся! – говорила она моей маме. – Это же уму непостижимо, разве же сейчас можно по ночам шататься, это же до одной только поры, не понимает человек, ничего не понимает». Нашу девчонку Акимовна баловала, приносила то белого инжиру

— «у вас ведь только синий», то молодых грецких орехов — варенье из них просто объеденье, ее старичок один, абхаз, научил, то грушу беру, сладкая, как мед, а пахнет как! От одного запаха сыт будешь. Наша тоже ужасно любила Акимовну, всякий раз она брала ее за руку и провожала до их калитки. Однажды, когда девчонка была еще совсем мала, Акимовна, уходя от нас, упала на каменистой дороге, поднимавшейся кверху, и покатилась, Вирина стояла у своей калитки и все видела, она так орала, что вся округа сбежалась, мы думали, это она расшиблась, а не Акимовна. Кстати, когда девчонка орет, лицо у нее меняется до неузнаваемости, она превращается в маленькую Бабу-ягу, напугает кого угодно, зато когда смеется — просто загляденье, а не ребенок! Ну вот, с тех пор она взяла шефство над Акимовной и одну ее не отпускает, обязательно до соседской калитки проводит, ну и с Валетом там пообщается, у нас ведь, по какому-то недоразумению, все еще нет собаки. С Гришей девчонка тоже проводила долгие беседы, он ее и в лес с собой брал, то за дровами, то за подпорками для яблонь, то за тычками для фасоли или для помидоров. Ходит она будь здоров! Никто к ней никогда не примеривался, и она вынуждена была ходить наравне со взрослыми, Гриша идет — делает шаг, а девчонка рядом — три пробегает, но ни за что не отстанет. Как-то я подслушал их разговор. Гриша рассказывал ей, что «с мэром в одном классе учился, за одной партой сидел, это же такой сексотишка был! И вот на тебе — пролез во власть, всем го-

родом заправляет, землей торгует налево и направо, а земля-то здесь какая, Виринея! Золото, а не земля, а он, Гриша, пришел какую-то ерунду ерундовскую попросить – дак на порог своего кабинета отъевроремонтированного не пустил, забыл, как списывал у него, просил вечно, дай, Гришка, физику списать, а теперь? Да я про него такие вещи знаю, у другого бы он вот где был, в кулаке! Да я добрый, добрый и дурак, вот и маюсь... Ты, Вир, понимаешь, что на свете творится? Я – нет». Наша кивала с умным видом. Она у меня потом потихоньку спросила: «Сележа, а мэл – он как муха цеце?» – это потому, что Гриша показывал, что в кулаке мэра может держать, как муху. Помрешь с ними, ей-богу!

*Я написал стихи. Время записок давно прошло, и я не знал, то ли переписать стихи набело и после уроков, когда мы пойдем домой, передать ей, то ли тогда же, по дороге из школы, прочитать стихи, но это было бы совсем глупо, вот так с бухты-барахты, и ведь надо, чтоб мы оказались совсем одни, а такого почти никогда не бывает, вечно нас кто-то догоняет, сзади идут, впереди мельтешат... Я не знал, что делать. Написать, конечно, проще. А вдруг Она, как раньше, передаст записку матери, а та моей маме, вот будет смеху... Нет, никто, конечно, не будет смеяться, это я так, просто я уже не в том возрасте, когда мои послания можно читать посторонним. Если бы Она так поступила, я просто не знаю, что бы сделал... Но, может*

быть, она тоже уже переросла ту себя, которая обязана была все докладывать маме. Стихи, конечно, не бомбовские, я понимаю, но, может быть, ей было бы приятно, все-таки, я думаю, никто еще не писал для нее стихов. Теперь, когда мы возвращались, уже не было темно – наступила весна, но лучшие бы по-прежнему была тьма, – в темноте, я думаю, я бы решился, правда! А так я тискал в кармане джинсов листок со стихами до тех пор, пока он вовсе не истрепался. Листок пришлось выбросить, потому что он превратился в ничто, и я переписал стихи на другой лист, потом еще на один – вот идиот, однажды я начал даже читать, она обернулась и посмотрела – и я заткнулся, забыл слова, будто дыру пробуравила в голове своим взглядом, у нее такой взгляд, просто до костей пробирает, не понимаю, как другие его не ощущают, ей бы в экстрасенсы пойти, вот бы деньгу зашибала! Волосы у нее темно-русые и прямые, а на лбу прядь совершенно белых, да к тому же кудрявых волос, никогда такого не видел! Ее мать рассказывала моей про то, что, когда ее носила, страдала токсикозом и, мол, потому у нее эта белая прядь, но все эти объяснения, по-моему, ничего на самом деле не объясняют. Просто она отмечена, все об этом говорит: и взгляд, и эта седая прядь, и даже необычная для людей, жирафья пятнистость ее кожи.

По осенней паутине ты скользила сквозь леса,  
И тебя, спустившись низко, обнимали небеса,

*Чистый дождь омыл слезами твое сонное лицо,  
Ветер надевал на палец обручальное кольцо.*

*В черной туче вознеслась ты выше стаи журавлей,  
Твой платок лежал, алая, средь желтеющих полей.  
На земле тебя будил я, звал: вернись.  
Заглянула к нам в окошко золотая рысь.*

*Золотая рысь по небу кружит и молчит,  
Когти золотые точит в полночи,  
И верхом на рыси, сквозь ночные облака  
Ты, моя невеста, мчишься, прячешь яблоко.*

*Плохие, эпигонские стихи, я понимаю. Но уж очень мне  
хотелось прочитать их ей. Так и не прочитал.*

Наша соседка с другой стороны, бабушка Варсеник, копает свой огород, ей уже за семьдесят, а лопатой она орудует будь здоров, мужики позавидуют. Она уже все вскопала, остался кусок земли за домом, в тени, грядки у ней ровные, как по линейке расчерчены, нигде ни одной сорной травинки – и все растет, как на дрожжах. В доме у них полно и мужиков, и молодежи, но всем некогда, все торгуют, ездят на границу с Абхазией, на пост Псоу, куда безработные абхазы тащат никому в Абхазии не нужные фрукты и орехи, скупают их и продают гораздо дороже на ближайшем к нам рынке, на Мацесте, куда сотни иногородних приезжают принимать ле-

чебные ванны. Говорят, куда выгоднее, чем копать в своем огороде, сами бы они вообще ничего не сажали, да бабушка Варсеник не может смотреть, как земля бурьяном будет зарастать, вот и копошится в саду. Она всегда что-то напевает, заунывное-заунывное, мне кажется, ей хорошо. Только глупый мобильник ее отвлекает, молодежь, которой вечно нет дома, наказывает ей без мобильного телефона в сад не ходить, в комнате она не сидит, а мало ли что – как с ней без мобильного свяжешься. По мобильнику бабушка Варсеник разговаривает очень сурово, сердится, что ее от работы отрывают со своими глупостями, поговорит и в сердцах сунет телефон опять в карман фартука – надоел! Помолчит секунд десять, придет в себя и опять запоет, мелодия и размеренные движения бабушки Варсеник совпадают так, что лучше не надо; наверное, эту же песню напевали трудолюбивые ее предки, работая в горных садах, возле того древнего Армавира.

Две дочки бабушки Варсеник замужем за русскими и живут не здесь, сын, самый младший в семье, тоже женат на русской, и после того, как умер дедушка Самвел – муж бабушки Варсеник, – дядя Богос – хозяин в доме. У них с тетей Леной три дочки, младшая, Соня, и средняя, Анжела, замужем, а старшая, Карина, – нет, очень уж долго училась, сокрушается бабушка Варсеник, целых десять лет, вначале в медучилище, потом в мединституте, потом в ординатуре, она недавно совсем вернулась домой после этой изнуритель-

ной учебы. Младшая, Соня, первая выскочила замуж, ее муж Антон на четверть только армянин, а по виду – так целиком, у них есть сын – ровесник нашей девчонки, Сако, родные зовут его Саколик. Пацаненок – правнук бабушки Варсеник – тоже на ней, родители зарабатывают деньги. Этот Саколик – большой озорник и всячески мешает прабабушке, сейчас он бродит по саду, обрывает головки у гиацинтов и анемонов и в конце концов получает от старухи смачный шлепок по заднице. Потом подходит к нашему забору, девчонка со своей стороны подходит к сетке, и, вцепившись в проволоку, мелкота начинает общаться, со смеху помрешь: ни тот, ни другой говорить как следует еще не умеют, да им и не о чем говорить, что с них возьмешь – двухлетки, но вовсю стараются. Наша, конечно, докладывает, что у нее есть лебеносек, вот такусенький, лыжий, но он скоро выластет и будет тиглом, Саколика такое будущее лебеноська нисколько не смущает, его интересует другое, без свадьбы, он говорит, детей не бывает – он совсем недавно был на свадьбе своей тети Анжелы, которая, видимо, его поразила, – наша тотчас парирует, что свадьба была, и она была гломадная невеста, вот в тако-ом платье, а на вопрос соседа, кто же был жених, девчонка, нимало не смущаясь, отвечала, что женихом, а следовательно, отцом рыжего котенка, был он, Саколик. Последнее заявление заставило надолго замолчать несчастного «отца» наших котят, то бишь лебеноськов моей сестры. В конце концов она вынудила «жениха» подарить ей несколько цветочных голо-

вок, за которые он пострадал. С тем они и расстались.

*По английскому и математике у меня в году выходят двойки. Как маме сказать, не представляю. Было родительское собрание, наша классная, русинка Алла Петровна, спрашивает: Морозов, почему родители не были? У тебя положение хуже всех в классе, а они не удосужатся прийти, поинтересоваться, как их ребенок учится. Я отвечал, что мама в это время как раз работала, и отчим тоже, — тогда, говорит, пускай кто-нибудь подойдет в любое подходящее для них время. Вот так штука! Какое же это может быть подходящее время, в которое маме моей скажут, что ее сын-оболтус останется на второй год, нет такого времени в природе, нет такого дня в неделе и нет такого часа в сутках. Нет, и довольно. С английского я стараюсь уйти по-английски: незамеченным. По-моему, англичанка уже плюнула на мое постоянное отсутствие на ее уроках. С математикой у меня вот какие отношения: правила и теоремы я знаю, как никто другой в классе, они у меня, по выражению математички, от зубов отскакивают, но, как только дело доходит до применения этих правил и теорем, как только надо решать примеры и задачи, тогда мне кранты. И в этой школе мне даже списать не у кого, просто катастрофа, не могу же я у Нее просить списать. Ее родители купили машину и все чаще забирают ее после уроков на своей навороченной тачке. Я стараюсь уйти пораньше, чтоб не*



подумали, что мне хочется, чтоб меня подвезли. Мне совсем этого не хочется, молчать с ней вдвоем – одно дело, а что за удовольствие молчать вчетвером – не понимаю, или еще хуже: через силу поддерживать ни к чему не обязывающий разговор. Да меня ни разу и не пригласили. Бабушка сказала бы: «Потому что мы для нее не пара, мы ведь не богачи, не торгаши». И в последнее время мне все реже удается защитить ее, вернее, возможность такая не представляется. На переменах она с девочками, после уроков ее родители увозят. Я познакомился с пацаном одним, он, оказывается, совсем недавно переехал в одну из соседних пятиэтажных башен, поменялись квартирами, он на два года младше, но такой нормальный вполне, зовут Славкой, ездим с ним вдвоем в школу и из школы, мои-то друзья все по другим школам разбросаны. Слава тоже здесь недавно учится и не прижился пока, я его, конечно, постарался завербовать, кадры нам нужны, дал про Белое движение почитать, нарасказал всякого, вроде въезжает помаленьку. Да мы теперь вдвоем-то горы своротим! Если, конечно, я не останусь на второй год. Тогда – просто не знаю, хоть головой в омут, вернее, в море, у нас омутов-то нет, кстати, головой я ныряю отменно, хоть с буны, хоть с аэрария, хоть с крыши аэрария – так что утонуть мне не удастся, разве только очень уж постараться...

Леня-Панама опять на Акимовну наезжает. Это у Пана-

мы бабушка Акимовна с Гришей купили полдомика и теперь сами не рады, я слышал, сначала-то Акимовна все звала его Леонид Петрович и на «вы», и Леня вначале был вполне вежлив с соседями, но надолго его не хватило, на месяц, наверное, только. А теперь, спустя два года, Панама совсем распоясался, кроет по-черному бедную старуху. Как будто он у себя на зоне и Акимовна шестерка ему, а Гриша, вот скотина, не может мать защитить, пьяный-то он наверняка бы не смолчал, а трезвому слабо. Насколько можно продрасться сквозь Ленины маты, дело все в том, что приходили электрики, которые вот уже сколько лет не могут к Лене попасть, и отрезали ему свет за вечную неуплату, прицепив к двери бланк квитанции: штраф на пятнадцать тысяч рублей. У Лени-Панамы на воротах здоровая табличка с надписью черным по белому: «Частная собственность, стреляю без предупреждения», за свет он, сколько живет, не платит и платить не собирается, так же, как за все прочее, забор у него такой, что не перелезешь, даже если примешь надпись на воротах за гнилой понт, тогда как это никакой не понт, у Панамы есть дробовик и наган, маленький, но страшно тяжелый, я сам его лет десять назад в руках держал и даже крутил барабан, кроме того, ротвейлера своего он может науськать за милую душу. Так вот, Акимовна сдуру пустила этих электриков в свой двор, а там они перелезли через сетку на Ленину половину – Лени в то время как раз не оказалось дома – и сделали свое дело. Панама возвращается со своей Мойрой с рыбал-

ки, а тут такой сюрприз! Наравне с матами излюбленное Ленино выражение – совки позорные. Тут он его и употребил, у него все кругом совки, кроме него, Панамы. Леня страшно гордится тем, что ни одного дня на советскую власть не горбатился, он всю свою жизнь то гулял на свободе, то на зоне сидел, и вот – прав оказался! Панаме уже за шестьдесят, и ноги он еле волочит – у него с венами что-то, морда вся в морщинах, и, когда хохочет, он всегда закрывает один глаз, как будто подмигивает, а хохочет он только в тех случаях, если наколол вас или подколол. Леня-Панама – аферист с огромнейшим стажем, начал он фарцовщиком и был первым фарцовщиком в нашем городе, первым – не в смысле лучшим, а в смысле тогда еще других не было, потом он валютными махинациями стал заниматься, еще иконами приторговывал, ну и вообще, панамил по-всякому Панама – кличка у него такая вовсе не потому, что он в панаме ходит, он их и не носит никогда, а потому, что афера с Панамским каналом была самой грандиозной аферой – на тот день, конечно, когда ему погоняло это дали. Ну а нынче он зек на покое, по трудовой книжке он последние десять лет, которые не сидел, где-то числился, но пенсия у него, конечно, смехотворная. Да пусть и за такую спасибо скажет, говорит Акимовна, у которой стаж пятьдесят лет и которая ни одного дня дома не сидела, а все работала. Иногда наезжают к нему по старой памяти зеки, не вышедшие на покой, помогают ему, но, видно, не слишком щедро – запросы у Лени панамские, по-

тому и пришлось Панаме продать полдома. Ездит Панама на красном «Запорожце» с инвалидным знаком на заднем стекле, он никакой, конечно, не инвалид, просто у него нет водительских прав, а инвалида на «Запорожце» менты тормозить не станут – Леня и на старости лет панамит помаленьку. Он сажает рядом свою жуткую черную Мойру, которая и на собаку-то не похожа: лаять она не лает, живет в доме, разъезжает на тачке, – на крышу «Запорожца» привязывает лодку и едет к морю, на рыбалку, Панама предпочитает свежую рыбу, а может, он уже проел деньги, вырученные от продажи половины дома.

Раньше, мама рассказывала, в этом доме жил его отец, Подполковник, и мать. Отец его в тридцатые годы был начальником одного из лагерей, а мать там сидела, они и сошлись. Она всю жизнь боялась Подполковника как огня. В тот год, когда я родился, она умерла, соседи говорили, что Подполковник, выкопавший накануне бассейн – а стояла зима с редкими для юга минусовыми температурами, – заставил ее туда залезть, что она беспрекословно и сделала, а наутро скончалась. Она в конце жизни перестала кого-либо узнавать и жаловалась моей бабушке, что у ней в доме живет скрытый враг народа, который ее бьет и голодовать заставляет. Через 40 дней после смерти жены Подполковник дал объявление в газете, что ищет домохозяйку не старше 45 лет, а было ему тогда за семьдесят. Домохозяйка нашлась, но после того, как они зарегистрировались, Подполковник

как-то очень скоро отдал концы. После смерти отца Панама пришлось – вот смех! – судиться с мачехой, которая оказалась ему не по зубам, потому что прежде, где-то в Абхазии, служила надзирательницей в женской тюрьме и таких, как Леня-Панама, щелкала как орехи. В конце концов ему пришлось купить у нее собственные полдома! Подполковник на старости лет нашел себе пару под стать! Он ненавидел сына и до безумия стыдился его, винил во всем зечку-жену, хотя она была политическая, а не уголовница, как Леня; впрочем, диссидентские наклонности у Лени тоже имелись, потому что он и с диссидентами сидел, но, скорее, Подполковнику надо было пенять на место зачатия: где родился – туда и воротился... Панама, когда бывал на свободе, к отцу с матерью навещался редко, большую часть своего свободного времени он проводил в столице, где было больше простора для афер, чем у нас, хотя, с другой стороны, и милиции было навалом. Мама, когда училась в Москве, нос к носу с ним столкнулась у магазина «Наташа», на улице Горького, до этого она только видела его мельком за соседским забором, а разговаривать они в жизни не разговаривали, а тут вроде как нельзя было не остановиться: все-таки соседи. Они там, в Москве, квасили пару раз – она вечно водила дружбу с мужиками, – а потом мама, выучившись, вернулась домой, и Панама как раз приехал наследство принимать. У него жила девушка Олеся, лет на тридцать его младше, и мама то и дело ходила к ним в гости, и меня, помню,

таскала с собой, — она все никак не могла отвыкнуть от стиля жизни московской общаги. Вот тогда-то я и видел у Лени-Панама пистолет, мне хоть и было лет пять, не больше, но тяжесть настоящего, не игрушечного оружия я запомнил, он даже хотел мне дать из него выстрелить, но мама воспротивилась. А потом тихая и хозяйственная Олеся стала проситься за Панаму замуж, мол, а вдруг с ним что случится, кому же тогда бедный, только что подаренный щенок Мойра достанется?.. «А также все остальное», — договорил Ле-ня-Панама, трясясь от злости, глупее она ничего сказать не могла. Панама собирался жить долго, очень долго, если получится, до ста лет, спиртное он пил только высшего качества, какую-нибудь докторскую колбасу, где бумаги больше, чем мяса, в рот не брал — покупал на рынке телятину, дышал, во всяком случае в последнее время, экологически чистым воздухом, сад засадил новомодным растением киви, которое растет, как сорняк, не требуя ухода, урожая дает много, а полезны плоды киви так, что ничего другого и сажать не надо — все витамины в них есть. Разговор о браке, начатый словами о его возможной смерти, разом поставил крест не только на этом самом браке, но и на Олесе. На следующий день Олеся по соседству с нами больше не жила. А еще через пару месяцев Панама сделал официальное предложение моей маме. Мама была в ужасе. После того, как Олеся уехала в свой родной город, мама перестала ходить к Панаме в гости. Прежде он все пытался устроить ее судьбу: знакомил со сво-

ими дружками, среди которых, кроме всяких бывших зеков, были художники – Панама за бесценок скупал у непризнанных авангардистов картины, в надежде в будущем выручить за них большие деньги; банкиры – с ними он когда-то сидел; известные киноактеры – им он когда-то продавал классное шмотье, поил водкой и ни в грош не ставил. Художники, просто зеки и зеки-банкиры, а также киноактеры – все как раз были или в разводе или на грани развода, но поскольку влюбиться с бухты-барахты мама не могла, а без любви всего боялась, то пристроить ее Панаме не удалось. И вот теперь он решил сам ее осчастливить. Моя мама из тех смиренных, взгляд которых порой бывает огненным. Наверно, поэтому Панама и запал на нее. Она очень осторожно ему отказала. Но Леня все равно был оскорблен до глубины души. После очередного приглашения в гости на чашечку – учти, настоящий кузнецовский фарфор! – кофе и очередного отказа мамы пьяный Панама, поскольку обозвать по-другому женщину, которая никуда не выходит, было бы не к месту, обозвал ее тайной женолюбкой, разумеется, употреблено было другое слово. И, разумеется, прозвучало это на всю округу – мама в ужасе захлопнула окно. Панама шел мимо по дороге, а она неосторожно высунулась в это самое окно. А потом разозлилась и крикнула, что у него просто старческий маразм. Лене-Панаме было в то время далеко за пятьдесят, и намеков на свой возраст он не выносил, как престарелая кокотка. С тех пор мама перестала замечать Панаму, а Панама перестал

замечать ее – они не разговаривают уже лет восемь. Однажды только, где-то года через два после этих событий, мама вынуждена была заговорить с ним. Панама, чтоб насолить ей – как же, отвергла его, такого великого афериста, – повадился убивать наших кошек: чуть котенок подрастет, Панама его раз! – из ружья, возьмем следующего котеночка, не успеет он вырасти, Панама его снова грохнет. Я, само собой, реву – я тогда еще в школу не ходил или в первый класс только пошел, не помню точно, в общем, маленький был и котят этих любил, как людей. Когда он третьего нашего кота застрелил, мама не выдержала – и пошла, вызывает Панаму, он выходит из дома, она у ворот стоит, я тебя предупреждаю, она кричит, ты нашего кота грохнул – я твою собаку отравлю, так и знай. Ох, он забесился! Как она смеет ему, Панаме, угрожать – да я *тебя* сейчас грохну, орет, заскочил в дом, схватил ружье, помедлил там, выбегает... Он думал, она сбежала давно от греха подальше. А она стоит – мама моя очень долго терпит, но потом, если пошла напролом, ей уже на все плевать, стоит и говорит: ну, стреляй, чего ж ты не стреляешь? Панама, конечно, не такой дурак, чтоб из-за псов да кошек по новой садиться, – заметался по двору со своим ружьем, накручивает себя, как истеричка, да я тебя, да я сейчас... Мама говорит: я тебя, Панама, предупредила, – и пошла. Вот тогда мы и взяли Пушку, у которой потом родилась Милька, сколько лет прошло – обе живы-здоровы. Нашу девчонку, которая то и дело попадается Панаме на глаза, он не замечает так, как



будто она еще не родилась. И я очень этому рад.

Каким-то чудом у меня по английскому и математике вышли все-таки годовые тройки. О школе на целых три месяца можно забыть, завтра начинаются бесконечные, чудесные летние каникулы! Я нарочно задержался немного и из окна третьего этажа видел, как подкатила серебристая «Тойота», как распахнулась задняя дверца, и она, ни разу не оглянувшись, исчезла в машине, видимо, до сентября. Славка ждал меня во дворе, у дверей школы, мы уже почти миновали стадион, но мои одноклассники, с Олегом Косыревым во главе, стали нагонять нас. Косырев – такой нордический блондин с прыщавым лицом, у его отца магазин на Навагинской – это центральная улица нашего города, – и Олег уже сам водит отцовскую тачку, правда, только вокруг школы, и постоянно хвастается, что в будущем году поедет учиться в Лондон. С английским у Косырева все в порядке. Мне не нравятся его глаза, они прозрачные до пустоты. Эй, белые гниды, зовет он нас, тормозите, – мы идем своей дорогой, остановитесь, куда вы понеслись, никто вас не тронет, – если слегка ускорить шаг означает понестись, значит, мы понеслись, – стоять, я сказал, – мы продолжаем путь. Морозов, предатель, я кому говорил стоять, – догнав, они окружают нас, и мы вынуждены остановиться. Предатель – это от моего однофамильца Павлика тянется. Мы уже миновали речушку. Мы со Славкой становим-

ся спина к спине: тыл защищен, и врага мы видим в лицо. Есть такая старая пиратская песня: «Мы спина к спине у мачты-ы против тысячи вдвоем!» Я пиратами увлекался в таком раннем детстве, что напрочь забыл эту песню, а тут вдруг вспомнил. Все идет по сценарию: обычные тычки и толчки. Но тут Косырев достает из рюкзака веревку и говорит, что повесит нас, если мы не прекратим выпендреж, хватит строить из себя невесть кого. Какой выпендреж? Какая веревка? Он дурак просто, этот Косырев, ему же влетит, ему так влетит, он, конечно, это понимает и сейчас засунет свою веревку в свой дурацкий рюкзак. Но он не засовывает, нам крутят сзади руки другими какими-то веревками, я кричу, но Лаврухин, скотина, заклепывает мне рот скотчем, я вижу, что Славкин рот тоже заклеплен, а глаза у него такие, будто его уже повесили, нас затащили за угол, в кусты, сюда никто никогда не сворачивает, ведь дорога к остановке идет направо. Шоссе, по которому проносятся машины, – там, вверху, а здесь, в бетонном склоне, проложена огромная труба, по трубе сочится ручей, и стена вся мокрая и скользкая, но в стене нет никаких крюков, и высоких деревьев рядом тоже нет, одни кусты. Конечно, нас не повесят, это было бы так глупо, ведь тогда Олега Косырева ни за что не пустят в Лондон, а может быть, пустят? Ведь он несовершеннолетний, они все несовершеннолетние, так же, как мы со Славкой, до совершеннолетия нам расти еще и расти, если, конечно, нам теперь удастся

вырасти. Огонянци накидывает нам на шею веревки, орет, ну что, сдайтесь, белые гниды, совсем не то орет, и связывает наши ошейники между собой. Я вижу, как они уходят. Слава Богу, мы живы! Косырев оборачивается и говорит: «I'll be back, baby!» Терминатор хренов. Но руки у нас по-прежнему скручены за спиной, рты залеплены, и вообще мы со Славкой связаны «одной цепью» и ходить теперь можем только парой, шаг влево или шаг вправо одного из нас грозит смертью от удушья обоим. Славка мычит и тянет меня куда-то вперед. Дурак, мычу я ему, разве мы можем в таком виде выйти на народ, но, конечно, он мычанья моего не понимает и все тянет меня за собой. Я останавливаюсь, хоть веревка больно врезается мне в шею, так же, как ему, – поэтому он тоже вынужден остановиться. Мыча, что у меня есть ножичек, я с трудом достаю его из бокового кармана рюкзака, что висит за спиной, – все-таки веревки затягивал не профессионал, и они ослабли немного, да и кисти рук у меня, как у всякого человека с родовой травмой, по утверждению одного невропатолога, гнутся во все стороны. После многих неудачных попыток Славке удастся повернуться ко мне вполоборота, почти спиной, веревки у нас на шеях перепутываются, мы стоим голова к голове, я пилую веревку на его руках, боясь, что ничего не получится и что мы в панике задушим друг друга. В конце концов мне удастся перерезать веревки на его руках. А дальше все просто: он перерезает веревку у себя и у меня на шее, отверзает

нам уста и освобождает мои руки.

*Через минуту после освобождения мы начинаем хохотать как бешеные, просто катаемся по земле от смеха. Обрывки веревок лежат тут же. А потом мы сидим у этой огромной железной трубы, из которой тихонько течет ручей и откуда несет сыростью и ржавчиной, и молчим, наконец, целых сто лет.*

По дороге к пятиэтажным домам, напротив дома налогового инспектора – он совсем недавно его купил, – стоит вагончик беженцев из Абхазии, там живут бабушка Аревик с сыном, невесткой и двумя близнецами-внуками: Левой и Грантом. Старшие живут тут с самой грузино-абхазской войны, а близнецы уже здесь, в вагоне, родились. Раньше с ними жил еще дедушка Ашот, и была у них разбитая старенькая «Волга», на которой они и бежали из Абхазии. Потом дедушка умер, машину продали, а деньги отдали на сохранение старшему сыну бабушки Аревик, живущему в Москве. Помню, моя бабушка говорила, что они – настоящие беженцы, не то, что остальные, которые понастроили домов в три этажа, заняли все рынки, ведро хурмы не знаешь как продать, всюду сидят эти проклятушие перекупщики, «беженцы» называются. «Аревик» – по-армянски солнышко, бабушка Аревик и в самом деле была желтая, как солнце, потому что у нее болело сердце, она все время сидела на облезлом табурете перед вагончиком – дышала свежим воздухом. Иногда

придется до поворота, посмотрит, что там, и опять назад, на свой табурет, который ей с помойки принесла дворничиха, которая убирает территорию возле пятиэтажек. Бабушка Аревик гадала на кофейной гуще, к ней со всего города ездили гадать; толстый меланхоличный Вачик поставил сапожную будку рядом с пятиэтажными домами и занимался ремонтом обуви, хотя клиентов у него было мало, он целыми днями сидел возле своей будки и курил; его жена, красавица Шушаник, работала в столовой одного из санаториев, поэтому еды у них было достаточно, а Лева с Грантом целыми днями играли возле вагончика. Водопровод они себе провели и за воду платили соседу, а свет брали прямо из проводов, которые шли над вагончиком, закинут на провода такую загогулину железную – вот вам и электричество, зимой топили буржуйку, а дрова Вачик из лесу таскал. Прописки у них, в отличие от всех остальных беженцев, конечно, не было, так же, как и гражданства. Бабушка Аревик даже моей маме нагадала Валентина с девчонкой. К маме подружка приехала из Москвы, у которой была ужасно неустроенная жизнь: ни мужа, ни квартиры, ни ребенка, – и, узнав, что по соседству гадают, попросилась, чтоб мама ее отвела, мама-то сама в жизни не гадала, а тут, за компанию, согласилась, вот ей и нагадали мужа, вслед за которым должен был появиться ребеночек. То же самое нагадали и маминой подружке. Но потом мама уже ни в какую не соглашалась гадать, как бабушка Аревик ее ни уламывала. Наша девчонка повадилась ходить

в вагончик, все там были от нее в восторге, особенно Лева с Грантом, они беспрекословно слушались ее, ходили за ней, как два хвоста, хоть были гораздо старше, им уже через год пора было идти в школу Бегут по дороге: наша впереди, в руках у нее какой-то руль с кнопками, который издает дикие звуки, похожие на вой шакалов, а близнецы за ней, в руках у них пассажиры: мишка, заяц, пес, кошка, натовец, — наша притащила игрушки из дому, потому что с игрушками в вагончике напряг. Все трое скачут за милую душу, бегут вприпрыжку, изображая какую-то невиданную шестиногую машину Исколесьят всю дорогу вдоль и поперек, только когда настоящая машина идет по дороге, предусмотрительные близнецы кричат с жутким акцентом, Виринеечка-а, берегысь, машина идет, к забору, к забору иды, тут стой. Пропустят транспортное средство — и опять за свое. Наша только никак их различить не могла, поглядит направо, скажет «Глант», а это Лева, поглядит налево, скажет «Лева», а это Грант. Их и родная мать с трудом различала, одевала она их одинаково, но носки, например, с разными полосками, у одного синие полоски, у другого красные, чтоб самой знать, где кто, близнецы всегда очень нарядные ходили, а игрушек у них не было, эти беженцы любили пустить пыль в глаза. Однажды близнецы спасли нашу от лошадей. Это были страшно грязные, со свалывшейся шерстью, коротконогие, с огромными уродливыми мордами, почти бесхозные лошади, которые неслись во весь опор, запрудив нашу узкую, мощенную

камнем дорогу. Девчонка вместо того, чтобы прижаться к забору, с воплем мчалась посреди дороги, а дикие лошади, грохоча копытами по булыжникам, настигали ее. Отважный Грант, а может, то был Лева, отскочил от забора, схватил девчонку и поволок в сторону. Лошади промчались, перепуганные дети стояли, прижавшись друг к другу. Когда прибежали взрослые, все уже было в порядке, наша, грозно сдвинув брови, рулила, руль завывал и плакал, верные близнецы скакали с двух сторон от нее, немного позади, крепко держа в руках брошенных было мишку с зайцем и натовца с кошкой.

Костя, Паша, Славка, Васька и я решили построить хижину на горе. Напротив нашего дома, за дорогой, – промежуток ровной земли, там тоже наш сад продолжается, виноградник разбит, стоит дровяник, и сразу начинается крутая гора, в которой дед мой покойный выбил ступеньки, сделав их из огромных гладких камней, помню, я маленький заберусь наверх, а вниз на задую сползаю. По склону горы вместе с деревьями лесными растут садовые, тоже дед сажал: инжир, терновка, яблони, алыча, облепиха, фундук, его еще медвежьим орехом зовут, потому что кавказский медведь очень любит фундуком лакомиться, грецкий орех и целые заросли лавра. Вы спросите, зачем нам столько лавровых деревьев, ведь в жизни нам не съесть столько супа, куда только и кладется листочек лаврушки, даже если есть суп по три раза в день. Я вам отвечу: а баня? С чем в баню-то ходить? Дедушка с

бабушкой, переехав на юг из Сибири и построив дом, тут же прилепили рядышком парную баню. А береза здесь, как на-зло, не растет, вот и приспособились делать веники из лавровых веток, только молодые, конечно, ветки надо ломать, тоненькие. А то будет вам «После бала», а не после бани. Валентин говорит: русскому человеку без бани нельзя, он хоть и в Африке будет жить – а баню ему подавай. Тем более у нас-то не Африка, зимой холода бывают такие, что ого-го! А сырость... только баней и спасаешься. Я и пацанов своих к бане приохотил, правда, не всех, мы с Васькой да Славкой втроем только паримся, а Косте с Пашей ванну с душем подавай, им больше ничего не надо. А мы втроем как пойдем в баню, как начнем друг друга лавровым веником хлестать – только держись! Так вот, про хижину: выровняв самую верхнюю террасу, мы свалили несколько юных чинар, обтесали их и забили в основания по углам, поперек все заплели гибкими прутьями фундука, стропила сделали опять же из молодых чинар, а крыша у нас получилась настоящая, Васькин отец со стройки шифер привез. Дверь в хижине была на гибких резиновых петлях, окон вообще не было, зато стояла мебель, мы собирали ее постепенно, к мусорным бакам народ выносил прекрасные старые вещи – и мы обзавелись топчаном, где могли спать по очереди, трехногим столом, четвертую ножку мы сами сделали, креслом-качалкой, которое, правда, нет-нет, да и норовило вами выстрелить, но качаться в нем было все-таки роскошным удовольствием. Еще у нас был огромный



коричневый сундук, в который можно было запросто упря-  
тать если не пятнадцать, то уж четверых-то пиратов точно,  
кстати, вся крышка у сундука изнутри была залеплена фан-  
тиками от конфет, на которых слово это писалось так: кон-  
фекты. Там были, к примеру, фантики от конфетов «Пари-  
жанка», на них нарисована дама в голубой шляпе с пером, а  
на конфектах «Крошка» – мальчик в матросском костюмчи-  
ке, на фантиках от конфетов «Домой» двое крестьянских  
детей, мальчик и девочка, гонят гусей хворостиной. Просто  
сдохнуть можно, уже давно, наверно, нет на свете тех людей,  
которые эти конфеты съели, а фантики внутри сундука це-  
лехонькие. Только представьте себе: пройдет каких-нибудь  
десятилетий, и кто-то найдет на свалке выброшенный ва-  
шими внуками старый шкаф, одна сторона которого залеп-  
лена наклейками от жвачек. Надеюсь, кому-нибудь он при-  
годится, и наклейки с мордами покемонов потомка не отпуг-  
нут. Для нас этот старый сундук стал просто находкой, че-  
го мы только в него ни совали: там лежали старые номера  
журналов «Вокруг света» и «Советский экран», моток мед-  
ного провода, молоток и гвозди, фонарик, приемник на ба-  
тареях, куски мела, «Книга учета», чтоб писать реляции и  
приказы по армии, сухие дрова, шербатая посуда, коробка с  
шахматами и еще много всякого другого добра. На плетеной  
стене хижины вместо окна висела картина Карла Брюллова  
«Жаркий полдень». На ней была изображена женщина, по-  
хожая на беженку, с виноградной кистью в руке, и женщи-

на, и виноград были совсем как живые, не то чтобы она нам очень нравилась, эта картина, просто жалко было оставлять ее на помойке, а рама картины и вовсе была настоящий багет. Теперь у нас был свой штаб, даже и не штаб это был, а просто наш дом. У каждого из нас была дома собственная комната, но родители-то были рядом, за стенкой, а занять свой собственный дом, что ни говорите, – это круто. Помню, мы с Васькой одно время роман писали в стиле фэнтези, главу я, главу он, так, чтоб прочитав друг другу написанное, приходилось залезать на чердак, подальше от чужих ушей. А теперь – пиши да читай! Мы теперь никому не мешали, и нам никто не мешал, мы могли говорить обо всем совершенно свободно, да и делать мы могли, при желании, что угодно, хотя ничего *такого* мы не делали и делать пока не собирались: наркотики, несмотря на телевизионные уверения, в наших школах не распространяли, да нам и наплевать на них было, мы, конечно, иногда покуривали, изредка брали пиво – пару бутылок на четверых, но на этом криминал и заканчивался. Костя с нами никогда не пил, у него родители были алкаши, и он не хотел становиться алконавтом. Он у родителей почти не бывал, жил у бабушки, которая после сноса барака, где они все обитали, получила квартиру рядом с дочкой, в соседнем подъезде. Мать Костина лет пять назад вроде завязала с этим делом, после того как ее пролечили, а теперь опять сорвалась с катушек. Как-то мы сидим с ним вдвоем в нашей хижине, играем в шахматы, и Костян гово-

рит: надоела, говорит, Серый, такая жизнь, — что так, говорю, — вчера у матери день рождения был, — Костян мне, — и так они напились все, вместе с гостями, что друг друга чуть не поубивали, матери досталось, день рождения называется, синячище такой у ней теперь, на работе стыдно показаться. Я ей говорю, че ж ты опять запила, делать тебе нечего? А она — нечего, скучно мне, Костя, жизнь проходит, на работе все одно и то же: рыла этих отдыхающих уже обрыдли, дома тоже все одно, выпьешь — так хоть повеселишься немного, расслабишься. Это что же, Костян говорит, такая и меня жизнь ждет, в которой серость такая будет и скукота, что только пьянкой ее и можно будет расцветить? Не хочу, говорит Костя, я лучше чего-нибудь такое сделаю, и пусть меня посадят, в тюрьме небось не соскучишься... Ничего себе заявленьице! Валентин, я слышал, как-то матери говорил, что у русских мальчиков две дороги, чтоб мужчинами стать: армия или тюрьма, а если третий путь — то так до седых волос пацаном и останешься. А мама спрашивает: а у девочек? С девочками, Валентин отвечает, все просто: ребенка надо родить. Я Косте смехом и говорю: ты погоди в тюрьму-то садиться, ты на нашей Вирке, как она вырастет, женись — ни в жизнь не соскучишься! Это то-очно, Костян отвечает и ставит мне мат в три хода.

Мы с девчонкой каждый вечер, как стемнеет, выходим ловить светлячков. Очень ей это нравится. Да и мне, при-

знать, тоже. На улице – благодать: пахнет безответственным летом, где-то на верхушках деревьев цикады стрекочут, на небе, после того как дневную голубизну стерли, проявились звезды. Звездное небо, с двух сторон подпертое отрогами гор, кажется близким и почти родным. И на земле, среди ночной темноты, пульсируют огоньки звездной жизни. По светлячку слегка стукнешь ладонью, он упадет в траву или на дорогу, достанешь его, посадишь в спичечный коробок, и светлячок там теперь живет-светится. В комнате он перестает светиться – и кажется обычным невзрачным насекомым, просто смотреть не на что, а вынесешь его в ночь – опять засияет. До чего, хитрец, хорош! Мама рассказывала, они с подружками, когда маленькие были, разрисовывали себе лица светлячками, просто давили их на себе, и след мертвых светлячков продолжал светиться, а потом пугали прохожих. Садистки! Мы с пацанами в такие игры не играли. Из-за соседнего хребта взошла полная луна, Виринея поглядела на луну, нахмурилась и говорит мне: «Светлячки, Сележа, из луны сделаны, они с луны к нам плилетели, там их дом, они днем на луне живут, а ночью у нас, не надо их в колобке держать, им домой лететь пола». Не надо так не надо. Выпускаем светлячков – и летят они себе за милую душу, правда, до луны пока не долетели, до кустов смородины только, но лиха беда начало. Луна – дама большеголовая, я тоже большеголовый, а девчонка наша нет, у ней голова небольшая, но очень даже ладная – вся в каштановых кудрях. Мама с завистью го-

ворит: цвет ореха фундук, никакой краской такого эффекта не добьешься. Помню, как врачи придурочные утверждали, когда наша еще в животе была, что родится микроцефал. Это такой страшный диагноз, мы с Валентином в энциклопедии прочитали, это еще хуже, чем даун. Маму на УЗИ послали в очередной раз, и УЗИ, врач говорит, показало, что у ребенка слишком маленькая голова для ее возраста, маме тут же это, прямо в живот, и сообщили, а ребенку было уже семь месяцев жизни. Мама, пока до дома, где Валентин ее ждал, добралась, чтоб в него уткнуться, чуть, говорит, не рехнулась. Мама с Валентином ночь не спали, а наутро она к другому врачу пошла, к другому аппарату УЗИ, помню, как мы ждали целый день, ее все нету и нету, вечером нажарили яичницы, едим прямо из сковороды, а на душе погано, весь день промолчали, каждый сам по себе, – тут она заходит, скрывая улыбку. Там была, оказывается, громадная очередь, и мама все сидела и ждала, сидела и ждала, и другой врач, когда она добралась наконец до него, сказал, что все нормально, а тогда ребенок, видимо, боком повернулся, поэтому сантиметра для нормы и не хватило, и пусть она на свою голову посмотрит, которая тоже величиной не отличается, и вообще такой диагноз ставят, когда ребенок уже родился и прожил три месяца. О-о-о, как мы были рады! И – о-о-о! – как мы были злы! Особенно Валентин, он сказал, чтоб больше мама к врачам ни ногой, если хочет нормально родить, что мама и сделала. Но когда девчонка родилась, мама до трех меся-

цев измеряла младенцу голову, и они постоянно из-за этого ссорились с Валентином, даже я слышал, Валентин говорит, да нормально все, успокойся ты, а она говорит, нет, не хватает сантиметра или вроде того, и ревмя ревет. Валентин даже сантиметровую ленту, помню, выкинул, чтоб она успокоилась. А все почему? Потому что врач дурак попался. Посмотрел бы он сейчас на нашу-то, какая вышла ладная девочка! Встреться он мне, ух, я бы ему показал! Сам он микроцефал драный, и больше ничего!

Мама и Виринея собирают малину в саду. После того, как бабушка от нас уехала, мама с помощью Валентина весь сад перекроила: грядки с помидорами, огурцами, баклажанами и болгарским перцем вывела, а вместо них посадила малину, которая плодоносит два раза в году Кусты фундука, лет тридцать росшие вдоль забора и превратившиеся в развесистые деревья, мы с Валентином вырубili, вместо них насадили в два ряда киви, с тем чтобы в будущем получилась тенистая аллея. Растение это вьется, как виноград, и так и просится, чтоб его лозы заплетали беседку Старые сливовые деревья с вечно червивыми плодами мы превратили в дрова и утащили с Васькой в свою хижину на горе. На их месте Валентин посадил гранатовые деревья, пару олив и какие-то вообще уж замысловатые растения: финик унаби, ази-мину, авокадо, кинкан, гуайяву и пепино. Мама все это вместе зовет папин канкан. Валентин говорит, субтропикам –

субтропиково. Зачем тут разводить помидоры, он говорит, с которыми одна мука: после каждого дождя их надо опрыскивать, чтоб не чернели, ставить тычки, потом подвязывать, потому что от избытка солнца и дождя кусты помидоров так прут в рост, что бывают порой по шейку взрослому человеку, ребенку же в этих помидорных зарослях просто можно утонуть, а красная цена им летом, когда урожай, – пять рублей за килограмм, куда проще купить, чем мучиться. То ли дело авокадо с гуайявой да киви! Валентин у мужика одного брал саженцы, так тот несколько тонн плодов киви оптом сдает, а сад у него меньше нашего, киви-то, одна штука, 8 рублей стоит, оптом, конечно, дешевле, и все равно можно сдать тонну и жить припеваючи. Киви – они как люди: у них есть женские растения и мужские, и если мужского растения не будет – никаких тебе плодов не видать, ну и, разумеется, если разведешь одних мужиков-киви, то тоже фиг что получишь. У нас есть и те, и другие: все как положено. Вот Валентин весной смотрит: что-то мужик уже всюю цветет, а дамочки – спят себе, думает, это что ж будет, он отцветет, а они только начнут, несовпадение получится, а мужик-киви, оказывается, цветет-старается чуть не до осени, на дамах его давно плоды завязались, а он все цветет – на всякий случай. Валентин смеется, слушай, да это не киви, это просто какой-то Гиви, понимаешь ли! Валентин возлагает на свой садовый канкан большие надежды. Он мечтает на работу не ездить, а навсегда остаться в саду с растениями, животными

и детьми. Мама с девчонкой весной теперь одну зелень сажают: мама посадит укроп там, петрушку, кинзу, реган, цицматы, салат разных видов, сельдерей, чаман, шалфей, уцма-сунели и еще прорву всяких семян – у ней так, кое-где, кое-что выскочит из земли, Виринея посадит – у ней все растет так, что только знай рви зелень да складывай в супы, салаты и куда попало. Мама говорит, у девчонки легкая рука, и обещает, что в сад ни ногой, вот пусть только девчонка немного подрастет. У нас еще в сторонке растет многолетнее растение артишок, ужасный какой-то деликатес, хотя на вид репейник репейником, только очень здоровый. Мама где только не искала, но никак не могла найти внятных объяснений, как же их, эти артишоки, готовить, решила делать, как поняла, срезала одревеневшие коробочки, оставшиеся от цветков, перевязала их, как было сказано, нитками крест-накрест и положила варить, варит она их, варит, варит, варит – наконец достала. Стали мы есть эти самые артишоки – и чуть не подавились, гадость невероятная, горькие и весь рот до конца дня связало. Мама потом уже узнала, оказывается, коробочки надо было срезать не полностью, а только у основания соцветий. Теперь мама ждет следующего урожая, она, во что бы то ни стало, хочет накормить нас этим несравненным деликатесом. После того, как сад перекроили, в живых оставили одни только розы Виринеи, хоть и росли они совсем не на месте, как раз посередине – и путали Валентину все карты: он хотел, чтоб деревья росли ровными рядами, точно друг



против друга. Но девчонкины розы Валентин не тронул, эти розы он сам и посадил. Когда забирали маму с девчонкой из роддома, Валентин приволок огромный букет бордовых роз, с удлиненными, породистыми бутонами. А потом, когда голландские гости завяли, черенки у них обрезал и сунул в землю, все розы, как одна, принялись и разрослись. Девчонка каждый день поливает свои розы, а они и рады стараться: то и дело выбрасывают в воздух свои породистые бордовые бутоны. Валентин говорит маме: вот, Люсь, я жмот! Единственный раз подарил тебе цветы – и то не просто так, не удержался, вывел от них потомство. А мама отвечает: правильно, Валя, так и надо, от всего должна быть польза, в таковское время живем.

Вагончик беженцев опустел. Валентин говорит про случившееся, что это просто какая-то понтийская трагедия. Жена налогового инспектора косо посматривала на соседей в вагончике, поскольку, если бы вагончика не было, на его месте можно было бы посадить помидоры, или фасоль, или кукурузу... Вачик говорил, что у них уже почти есть российское гражданство, и как только они купят землю, то сразу же уберутся отсюда и вагончик поставят на своей земле. Хотя клочок земли, где стоял вагончик, по-настоящему никому не принадлежал, и налоговому инспектору с женой – тоже. Деньги, говорил Вачик, почти скопили, и только ищут подходящий участок, чтоб не очень высоко в горах, так как ко-

фейным клиентам бабушки Аревик далеко ходить не захочется. И вдруг Вачик покупает вместо земли белую «Волгу», такая была у его отца. Целую неделю Вачик, не ведая, что тучи над вагончиком сгущаются и Зевс-громовержец вот-вот запустит в него молнией, раскатывает на своей «Волге» туда-сюда: отвозит жену на работу, ездит к своей сапожной будке, катает вдоль города и поперек счастливых и гордых близнецов. А через неделю после покупки «Волги» жена налогового инспектора, сам инспектор и их подвыпившие гости идут в вагончик разбираться, почему его обитатели вместо земли покупают, как путные, машину, и долго ли они собираются мозолить инспекторской семье и всему окружающему населению глаза; инспекторша в пылу разбирательства ударила жену Вачика в живот, близнецы заорали, бабушка Аревик схватилась за сердце, Вачик оттолкнул инспекторшу и получил в морду от инспектора. Наутро инспектор пишет заявление в милицию, что по соседству, в вагоне нигде не прописанных беженцев – притон, что к ним ходят и ездят подозрительные граждане и гражданки, конечно, за наркотиками, что Вачик ворует электричество у государства, а может, и не только, и что накануне был инцидент, в результате которого сильно пострадала жена инспектора. Милиция стала все проверять и вдруг обнаружила, что Вачик во время грузино-абхазской войны совершил противоправные действия и что его давным-давно разыскивает прокуратура Грузии. Хотя на войне, Валентин говорит, совсем другие права и зако-

ны, вернее, их совсем там нет. Вачика тут же арестовали, но отправили почему-то в Ростов. Инспектор ходил именинником: он нашел и обезвредил опасного преступника. Бабушка Аревик попала с сердечным приступом в больницу. Лева, а может, то был Грант, рассказывал девчонке, что бабушке отрезали большой палец на ноге, потому что у нее началась *гангрена*. Вначале похоронили палец, а следом и саму бабушку. Шушаник, жена Вачика, внезапно лишившись мужа и свекрови, почти помешалась. Близнецов ей некуда было девать – и она перестала ходить на работу, денег не было – и она пошла к многолюдным пятиэтажным домам, чтоб продать то, чем расплачивались с бабушкой Аревик за гадания, а именно: растворимый кофе, тушенку, сгущенку, зеленый горошек, какао «Золотой ярлык» – и купить вместо этого хлеба и молока. Лева с Грантом, притихшие, сидели рядом с матерью, а за их спинами стояла заколоченная сапожная будка их отца. В конце концов, Шушаник решила уехать обратно в Абхазию, к матери, она продала вагончик Лене-Панаме, который, смеясь и подмаргивая, рассказывал всем и каждому, как наколот лохушку. Я слышал, как он говорил ей, что за эту рухлядь и ста рублей никто не даст, это он, Панама, такой щедрый, платит ей тысячу, да ты с этими деньгами в своей вшивой Абхазии миллионершей будешь, подмигнул ей Панама – и все лицо его от хохота покрылось жуткими морщинами. Она надумала продать все-все, чтоб ничего не осталось. Печку-буржуйку, кровати, стол и стулья она

распродала соседям, оставшийся скарб нагрозила на тачку с двумя огромными колесами. Она катила свое имущество по дороге, предлагая всем встречным-поперечным купить у нее машинку для закатки банок, пилу с крупными зубьями, сло-манные велосипеды близнецов, белую пластмассовую тарелку с фотографией свекра на дне, простыни и пододеяльники, дерматиновую сумку, полную лекарств, горшки близнецов, разномастную посуду, картину «В дозоре» и многое-многое другое, с чем они сжились в этом никуда не едущем старом русском вагоне на одном из перекрестков кавказских дорог. Тачка была перегружена, и то и дело что-нибудь с нее падало, Шушаник не обращала на упавшее внимания – упало, туда ему и дорога, близнецы с нашей девчонкой, бежавшие следом за ней, возвращались, чтоб поднять все эти скалки, вилки, веники, фотографии счастливых времен, растрепанные детские книжки, – догоняли и совали ей в руки, но она кричала: бросьте, бросьте, не надо, упало – пускай лежит, не хочу, ничего не хочу, – и даже взмахивала руками, стряхивая с них следы никуда теперь не годных вещей. На повороте тачка перевернулась – под безжалостным светом летнего дня лежал жалкий скарб бедных людей, и невозможно красивая молодая женщина сидела возле и плакала, не могла остановиться. Наша, не выносившая вида слез, тут же начала вторить ей, подвывая басом и приговаривая: пойдёмте, тетя Шушаник, к нам, вы у нас будете жить, и мальчики тоже, и дядя Вачик, когда из тюльмы плиедет, пусть у нас живет.

Грант, а может, то был Лева, сказал: «Нет, Виринеечка, это не наш дом, у нас будет свой дом, и мы к тебе приедем на нашей «Волге» – и ты поедешь к нам, потому что я, когда вырасту, обязательно на тебе женюсь». «Нет, я», – сказал Лева, а может, это был Грант.

Все лето мы с пацанами торчали на море. Старая узкоколейка, по которой, говорят, когда-то ходили два вагона и в них все ездили в центр, а автобусов и маршрутных такси тогда вообще не было, – ведет теперь только к морю. Сто метров узкоколейки осталось от многокилометрового пути. Мы прыгаем со шпалы на шпалу, между которыми здоровое расстояние, а внизу еще и яма, – вымыло землю последним страшным ливнем. Переходим через действующие железнодорожные пути и мимо развалин огромной круглой ротонды с колоннами, похожей на постройку времен микенской цивилизации, – хотя построена она не раньше тридцатых годов XX века, – спускаемся к морю. Мы идем на дикие пляжи, наша любимая буна – шестая, там почти никого не бывает, берег здесь весь в крупных булыжниках, дно у берега отвратительное – тоже булыжники, да еще покрытые скользким морским мхом, но нас это не смущает. Раздевшись на буне и придавив одежду теми же булыжниками, чтоб не снесло ветром, мы, нырнув с конца буны в море, надолго покидаем скучную землю с ее заботами. В море мы – дельфины, мы ныряем рыбкой, бомбочкой, делаем сальто, кувырок, ныр-

нув, плывем под водой, кто дальше, играем в догонялки, подолгу качаемся на волнах, как пять загорелых крестов, и на сушу выходим только тогда, когда совсем посинеет и кожа на пальцах сморщится и побелеет. На цивилизованный пляж ближайшего санатория мы идем только для того, чтоб понырять с аэрария, хотя на рейках передней стенки аэрария висит объявление, где громадными буквами написано: «Не нырять. Опасно для жизни». Для жизни отдыхающих, может, и опасно, но не для нас, выросших на море. Мы берем с собой яблоки, алычу, орехи, лаваш, зелень и, проголодавшись, уплетаем все с большим аппетитом. С семьей за все лето я ходил на море только раз пять, из-за девчонки мы двигаем на санаторный пляж – там песок и хорошее дно. Чтоб добраться до этого культурного пляжа, надо преодолеть спуск в триста ступенек, а потом, разумеется, такой же подъем, но девчонке все нипочем – идет себе хоть бы хны, на руки ни за что не попросится. Воды Виринаея совершенно не боится – заходит по шейку, только держи, чтоб дальше не убежала. Никаких кругов, или надувных нарукавников, или спасательных жилетов она не признает. Любо-дорого посмотреть, как она плещется в волнах: лежит у кромки прибоя, а волны ее, как щепку, крутят то туда, то сюда, то с головкой накроют, то через голову переметнут, только смуглые ноги в воде мелькают. Она для моря – игрушка, но и море для нее – самое любимое из всего, что есть на свете, ну, может, одни книжки стоят впереди, потому что из воды ее можно вытащить, толь-

ко пообещав что-нибудь почитать. Да и то хватает ее ненадолго: плеск и шорох волн, вид этого самого моря, его запах, могучий его зов легко отрывают ее от книжек. Если шторм слишком силен и волны в несколько раз больше взрослого человека, девчонка бежит по волнам вдоль пляжной полосы. Она вся такая ладненькая, вытянутая в струнку, загорелая, и бежит, и подпрыгивает так самозабвенно, волосы ее развеваются на ветру, раскосые скифские глаза сияют, так она похожа на маленького глупого олененка, что невольно залюбуешься ею. Она играет с морем, как с огромным прирученным зверем. Иногда ее, посиневшую, удастся вытащить из воды, искусив постройкой замка из песка или пообещав, что сейчас она меня или Валентина закопает, или поиском сокровищ – чудесных морских камешков, которые они собирают с мамой вдоль полосы прибоя. Но все это может оторвать девчонку от моря лишь ненадолго. Выпучив глаза, смотрит она на странных детей, которые боятся заходить в воду, и орут, и лезут из волн вверх по своим мамам, как будто это не мамы, а деревья. Море – ее детская страсть, и бороться с этой страстью просто невозможно.

Как-то сосед Антон, отец Саколика, дружка нашей девчонки, предложил нам с пацанами наловить крабов и продать, к ним на рынок приходил какой-то мэн и предлагал рубль за штуку. Говорит, пацаны из пятиэтажки выручили за крабов тыщу рублей – за раз. Разумеется, мы, как все местные мальчишки, умеем ловить крабов, у нас даже припрята-

ны на нашем диком пляже, под громадными камнями, железные штыри, сделанные из арматуры, которыми можно выгнать краба из расщелины буны или из-под камней, где они прячутся, – но ловим мы крабов только для развлечения – поглядим, как они бочком-бочком, как великие скромники, удирают от нас на своих шести лапах, да и отпустим. Антон загрузил нас около полуночи в свой старенький «жигуленок» – оказывается, ночью крабы ловятся гораздо лучше, чем днем, – и мы отправились на охоту. С собой у нас были фонарики, маски для подводного плавания, трубки. Антон, Славка и Паша пытались достать крабов, лежа на буне: ослепишь краба фонариком – и бери его, пока он не очухался. А мы с Васькой и Костей, нырнув в воду, искали крабов в расщелинах, но со стороны моря.

Ночью море совсем не такое, как днем. Оно похоже на ночное небо. Море светится, будто плывешь в звездной тьме, – это мириады микроорганизмов подсвечивают его звездной пылью. Поднимешь руку – а она сияет, будто ты привидение или эльф, – и с руки стекает прозрачная ткань митрил. И ночью море по-настоящему Черное, хоть и подсвечено живущими в нем созданиями, оно заманивает тебя – в даль, в глубину. Воздух черный, море Черное, и на берегу – ни огонечка, и, когда плывешь, теряешь ориентацию, а может, теряешь себя. Растворившись в этой тьме, можно невзначай повернуть и очень долго плыть в сторону, противоположную берегу, думая, что вот-вот достигнешь его. В



конце концов светящаяся морская тьма просто проглотит тебя, всего, без остатка.

Мы надели маски, взяли в рот дыхательные трубки и опустились на дно, держась руками за шершавую стенку буны и светя в расщелину фонариками. Круги от света фонарей казались в воде какими-то странными морскими животными, может быть, не известным науке видом медуз. Крабы замирали от этого света, и мы арматуринами выковыривали их и брали еще тепленькими, – хотя, на самом-то деле, они, конечно, холодные, потому что живут в воде. Но, вопреки нашим ожиданиям, крабов было немного, и это были небольшие, обыкновенные крабы, а не здоровенные крабы-глубинники, за которых, Антон говорит, платят по червонцу, а то и больше. Все вместе мы поймали штук тридцать мелких крабов – черт, это совсем не то, о чем мы думали! Почти не солоно хлебавши, мы возвратились домой. Оказалось, что существуют ловушки для крабов, но что они из себя представляют и как их сделать, орки, враз заработавшие тыщу (это же тысяча крабов мелких или сто больших!), нам, конечно, не скажут. Не вышло из нас ловцов крабов, не получилось у нас с коммерцией – ну и ладно! Ну не купцы мы, не купцы, и проехали!..

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.